

Глушь, глубинка и ссылка: к пониманию пространства в русской культуре

‘Glush’, ‘Glubinka’ and ‘Ssylka’: some notes on the perception of space in Russian culture

STEFANO ALOE, *Università di Verona (Italy)*
stefano.aloe@univr.it

Received: August 21, 2014.

Accepted: November 19, 2014.

ABSTRACT

The aim of the present paper is to analyze the use of some words that denote space in Russian culture (such as “glush”, “glubinka”, “provintsiya”, “ssylka”, etc.); the role these words play in the world perception; and the evolution of their usage starting from the XIX century. Unlike the traditional linguocultural approach, this article is based on the principles of literary texts hermeneutics: using examples from a corpus of literary texts of the main Russian authors, such as F. Dostoevsky, I. Turgenev, A. Chekhov, I. Goncharov, I analyze all the possible shades of meaning implied in these words by the author both as an individual being and a member of Russian society, and define the connotations of such concepts as *Province vs Cultural capitals*, *City vs Village*, *Exile* for a XIX century literary hero and for the Russian nation of that period in general.

Keywords: Russian Literature, Linguoculture, Russian space, Exile, “Glush”.

Ключевые слова: русская литература, лингвокультура, русское пространство, ссылка, глушь.

– Однако, в какую глушь занесла нас судьба!
(А.П. Чехов, «Палата № 6»)

Введение

Есть в каждом языке слова и выражения, которые способны сказать намного больше закрепленного по словарю значения и на которые можно опираться, чтобы попытаться уловить некоторую специфику культуры, выражающейся посредством языка. Ключевыми для той или иной культуры можно назвать те понятия, которые отражают общие координаты общества, узнаваемые и, в известной степени, принятые всеми его членами. Среди них можно выделить специфические понятия, в большей или меньшей степени отличающие одно общество от другого.

Говоря о русской культуре, принято считать, что многое в ней имеет прямое или косвенное отношение к особенностям географического пространства страны (Gasparini, 1967; Gasparini, 1968-1970). Особенности восприятия пространства (и человека в нем) отражаются в произведениях русских писателей, а в особенности в их творческом, семантически глубинном употреблении некоторых слов. Обильно употребляются известные антитезы *Город-Деревня*, *Столица/ы-Провинция*, *Центр-Периферия*. Они очень важны для русской культуры, но недостаточны для полного раскрытия ее соотношения с окружающим миром. Есть слова и выражения, которые существенно дополняют эти координаты, подразумевая специфическую картину мира. Далее в статье речь пойдет преимущественно о словах *глушь* и *ссылка*, также вкратце мы поговорим о слове *глубинка*, поскольку эти слова являются важными для понимания

аксиологического аспекта восприятия пространства в русской культуре.

Для начала считаю необходимым одно уточнение по поводу только что упомянутой «картины мира». Выражение «языковая картина мира русского человека» пользуется довольно большой популярностью и подразумевает некое единство в восприятии мира, основанное на языковых и культурных особенностях определенного народа. Сколь ни заманчиво звучала такая формулировка, ее недостатки довольно очевидны: она предполагает существование одного коллективного «русского человека», который, благодаря общей истории, условиям жизни и обычаям, объединявшим людей этой страны в течение длительного времени, особенно в силу специфики его языка, развивавшегося в связи с теми же событиями, условиями жизни и обычаям, якобы должен обладать определенными национальными особенностями и специфической ментальностью и мыслить коллективными категориями, которые формируют его взгляд об окружающем мире.

Такой человек лишен индивидуального опыта и характера, он не личность. Его черты слишком совпадают с трудно определяемыми и спорными чертами его народа (а уместно ли сегодня размышлять еще о народах?..). Эти понятия и их защита или опровержение требовали бы отдельного, очень широкого толкования; но поскольку подобная дискуссия выходит за рамки темы статьи, хотелось бы лишь предупредить, что мои наблюдения не основаны на очень спорном, на мой взгляд, понятии «языковая картина мира», тем более, что мой анализ не языковедческий, а герменевтический: цель – наблюдение и толкование семантики слов «глушь» и «ссылка» в контексте определенных художественных произведений. Безусловно, употребление этих слов, кроме внутритекстуальных и авторских оттенков, носит и культурные отпечатки; более того, художественное употребление слова или выражения часто способно обратить внимание на семантические нюансы, раскрывающие в них новые понятийные функции. Поэтому уместно говорить о некоторой степени отражения в отдельных словах и выражениях менталитета более или менее определенной культурно-языковой среды, *в частности в случае их творческого, т.е. нестандартного, употребления.*

Центр-Периферия или Поверхность-Глубина?

Возвращаясь к теме пространства, можно предположить, что противопоставление *Центр-Периферия* – одна из ключевых антитез в русской культуре XIX века. Однако исходя из примеров, взятых из художественных произведений Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева и других русских классиков, можно заключить, что подобная антитеза и подразумеваемая ее система ценностей требуют существенных коррективов: пространственная картина намного усложняется тем, что рядом с известными координатами *Центр-Периферия* (от центра до периферии, от столиц до границ страны и т.п.) допускаются и координаты *Поверхность-Глубина*.

Слова *глушь* (от корня *глух-*) и *глубинка* (от слова *глубина*, корень *глуб-*) отражают понимание «периферии», «провинции», «деревни» как нечто, стоящее неподвижно *в глубине* страны, в самом затаенном и исконном пространстве России. Первое слово носит почти всегда отрицательный оттенок, в то время как второе, как правило,

положительный.¹ В первую очередь интересно сосредоточить внимание на термине *глушь*, который имеет наиболее богатые смысловые оттенки и чаще всего встречается в произведениях Достоевского, Тургенева и других писателей второй половины XIX века. Оставлю в стороне анализ термина «глубинка», поскольку его семантика в употреблении принятых во внимание писателей оказалась в основном устойчивой («лирично-положительной», идиллической), в отличие от колеблющейся семантики слова «глушь».

Для начала рассмотрим повесть Достоевского «Хозяйка», в некотором смысле ключевую для формирования поэтики писателя (об этом см. другие мои работы: Алоэ, 2007а; Алоэ, 2007б). В «Хозяйке» слово «глушь» встречается несколько раз, начиная с первых фраз повести, где оно носит бытовой оттенок: «Хозяйка его, очень бедная пожилая вдова и чиновница [...], по непредвиденным обстоятельствам уехала из Петербурга куда-то в глушь, к родственникам...» (Достоевский, 1972-1990: 1; 264). Движение из вполне определенного Петербурга в совсем неопределенное *куда-то* – в глушь – хорошо характеризует пространственное и качественное неравенство двух понятий. Из «глуши», как станет постепенно ясно, приехали в Петербург почти все герои повести, начиная с главных – Ордынов, Катерина и Мурин (исключения – Ярослав Ильич, предположительно петербуржец, и немецкая хозяйка Ордынова, появляющаяся в конце повести). Словом «глушь» Достоевский сообщает читателю больше, чем банальную и неопределенную информацию о социальном или географическом происхождении персонажей. Петербург повести «Хозяйка» представлен как город плохо адаптирующихся к столице приезжих, более того – это город со скрытой *нестоличной* жизнью. Напряжение между столичным пространством и «глушью» становится очевидным при анализе блужданий Ордынова: «Долго и бессознательно бродил он по улицам, по людным и безлюдным переулкам и, наконец, зашел в глушь, где уже не было города и где расстиралось пожелтевшее поле; он очнулся, когда мертвая тишина поразила его новым, давно неведомым ему впечатлением» (Достоевский, 1972-1990: 1; 270). Ордынов бродит в рассеянном состоянии, и его движения обозначены неосознанной (или не раскрытой повествователем) логикой: из шумного центра Петербурга к его периферии в первый день повести, кульминацией которого являются вход в приходскую церковь и первая встреча с Катериной; за пределами города во второй день, когда он «зашел в глушь» и «пошел было дальше и дальше; но пустыня только тяготила его», последует возвращение в город и уже сознательное решение снова посетить *ту* церковь. Маршрут Ордынова, с его внутренним стремлением к

¹ См. слово «глушь» в словарях Академии Российской 1806 г., В.И. Даля и Д.Н. Ушакова: в раннем словаре Академии Российской приводятся для слова «глушь» два значения: «1) В отношении к лесам и садам: глубокая даль в лесу, или где деревья в лесах и садах весьма густо растут. *Зашел в самую глушь леса. Дерево посаженное в глуши скоро пропадает.* 2) В рассуждении жительства значит: место, где мало людей живет или ходит, где ничего не слышно. *Живя в глуши, мало новостей слышу»* – Словарь АН, 1806: I, 1134; у Даля «глушь» – это «глухое место, т.е. заросшее, запущенное, необработанное, или нежилое, безлюдное, малолюдное; или застойное, непроезжее» – Даль, 1880: I, 359; для Ушакова это «Место, удаленное от центров общественной и культурной жизни. *Провинциальная глушь»* – Ушаков, 1935-1940: I, 575. Никакой из данных словарей не приводит слова «глубинка». Оно встречается в словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (Ожегов, 1992: 134: «глубинка» представлена как «глубинный, далекий от центра пункт, район», а «глушь» – «то же, что захолустье»).

безмянному, отдаленному от общественной жизни пространству, имеет важную подготовительную функцию в сюжете повести.

Похожая схема встречается в «Идиоте», когда у князя Мышкина возникает отчаянное желание «побега в глушь»:

этот “шаг” был не из тех, которые обдумываются, а из тех, которые именно не обдумываются, а на которые просто решаются: ему ужасно вдруг захотелось оставить всё это здесь, а самому уехать назад, откуда приехал, куда-нибудь подальше, в глушь, уехать сейчас же и даже ни с кем не простившись. Он предчувствовал, что если только останется здесь хоть еще на несколько дней, то непременно втянется в этот мир безвозвратно, и этот же мир и выпадет ему впредь на долю (Достоевский, 1972-1990: 8; 256).

Это момент, когда Мышкин острее всего ощущает пропасть между окружающим его миром и им самим;² отсюда – идея ухода от действительности и возвращения в болезненное и неопределенное состояние детства. Но нет для Мышкина *своей* конкретной, коренной глуши, если не считать Швейцарию или стертые воспоминания о местах, где он провел раннее детство. Мечты о «глуши» предвещают Мышкину судьбу – возвращение в состояние идиотства.

Мысль «затаиться в глуши», в мире идиллического и беспечного детства в деревне, соблазняет и Версилова в «Подростке»:

...ничего нет прелестнее, Татьяна Павловна, как иногда невзначай, между детских воспоминаний, воображать себя мгновениями в лесу, в кустарнике, когда сам рвешь орехи... Дни уже почти осенние, но ясные, иногда так свежо, затаишься в глуши, забредешь в лес, пахнет листьями... Я вижу что-то симпатическое в вашем взгляде, Аркадий Макарович?
- Первые годы детства моего прошли тоже в деревне. (Достоевский, 1972-1990: 13; 88)

Для Версилова глушь – это чаща леса, и слово на первый взгляд не имеет под собой более глубокого значения, как, например, мы наблюдали в случае Ордынова и Мышкина, но и персонаж Версилова — менее глубокий, чем князь или Ордынов. Тем не менее слово содержит в себе и в этом случае нечто таинственное, позволяющее говорить об общей основе впечатлений героев: «зайти в глушь» для Версилова так же, как и для Ордынова и Мышкина, означает символическое возвращение к пространству детства, и это, как правило, детство, проведенное в «провинции». Тишина деревни поражает Ордынова «давно неведомым ему впечатлением» (*курсив мой – С.А.*), не иначе как в другой момент действует над ним и сон: идет процесс реконструкции детских ощущений, и этот процесс имеет тесное, хоть и смутное, отношение к мировоззрению героя (и к его таинственной «теории» об истории русской церкви); в глубине его сознания «глушь» «избирает» столичное пространство настоящего как себе противоположное и вступает в скрытый с ним конфликт. В открытых просторах поля, диаметрально противоположных городской “келье”, в которой он прячется от людного общества, Ордынов переживает драматическое столкновение двух миров, несовместимых и одновременно сосуществующих в жизненном и культурном опыте

² Ср. еще другое высказывание Мышкина: «Лукьян Тимофеевич: вы меня, наверно, не ждали. Вы думали, что я из моей глуши не подымусь по вашему первому уведомлению, и написали для очистки совести. А я вот и приехал» (Достоевский, 1972-1990: 8, 166).

героя. То, что находится вне исторических столиц, не находит места в культурной системе европеизированной России XIX столетия и оценивается вкупе как «глушь» – место без определения, без лика. Герои Достоевского проблематизируют свое отношение к этому *nowhere*, ассоциируя его с ощущениями своего детства и снимая со слова «глушь» отрицательную оценку; тем самым они имплицитно ставят под вопрос преимущество и истинность европеизированных координат своего общества – в первую очередь, «петербургскую» систему ценностей. Это шаг к раскрытию исконно русского пространства.

Критичное сознание «глуши» встречается и в произведениях других современников Достоевского. Оно звучит особенно ярко в романах Ивана Тургенева «Дворянское гнездо» и «Отцы и дети». О Лаврецком Тургенев пишет следующее:

в Петербурге общество, в котором он вырос, перед ним закрылось; к службе с низких чинов, трудной и темной, он чувствовал отвращение (все это происходило в самом начале царствования императора Александра); пришлось ему поневоле вернуться в деревню, к отцу. Грязно, бедно, дрянно показалось ему его родимое гнездо; глушь и копоть степного житья-бытья на каждом шагу его оскорбляли; скука его грызла; зато и на него все в доме, кроме матери, недружелюбно глядели. Отцу не нравились его столичные привычки, его фрак, жабо, книги, его флейта, его опрятность, в которой недаром чуялась ему гадливость; он то и дело жаловался и ворчал на сына. “Все здесь не по нем, – говаривал он, – за столом привередничает, не ест, людского запаху, духоты переносить не может, вид пьяных его расстраивает, драться при нем тоже не смей, служить не хочет: слаб, вишь, здоровьем; фу ты, неженка эдакой! А все оттого, что Волтер в голове сидит”. Старик особенно не жаловал Вольтера да еще “изувера” Дидерота, хотя ни одной строки из их сочинений не прочел: читать было не по его части. (Тургенев, 1978-1986: VI, 29)

Столкновение Лаврецкого с родной деревней представлено как конфликт между двумя несовместимыми, взаимно отталкивающими друг друга мирами. Первые впечатления столичного дворянина заключаются в его отвращении к «глуши и копоти степного житья-бытья». Радикальное противопоставление этих двух миров в начале романа служит Тургеневу для развития одной из главных сюжетных линий – коренной перемены системы ценностей героя.³ Следует считать изначальное отвращение к «глуши», представленной рядом резко негативных характеристик, как позицию, общую герою и его читателям-современникам и в основном «нормальную», логичную соответственно системе ценностей образованного общества той эпохи. Цель автора – подвести сознание читателя, исходя из привычных понятий, к постепенному раскрытию иного, критического взгляда на обе стороны вопроса: что такое на самом деле «глушь» и что такое «цивилизация»? Ведь не всё однозначно. Эволюция точки зрения Лаврецкого представлена тщательным описанием его психологических переживаний вперемежку со всё более точным и восхищенным изображением природы, настоящего «лика» этой ранее неведомой глуши:

Тарангас его быстро катился по проселочной мягкой дороге. Недели две как стояла засуха; тонкий туман разливался молоком в воздухе и застилал отдаленные леса; от него

³ «Он сидел под окном, не шевелился и словно прислушивался к течению тихой жизни, которая его окружала, к редким звукам деревенской глуши» (Тургенев, 1978-1986: VI, 63). Прислушивание к звукам глуши – первый признак способности Лаврецкого пересмотреть свою позицию.

пахло гарью. Множество темноватых тучек с неясно обрисованными краями расплзались по бледно-голубому небу; довольно крепкий ветер мчался сухой непрерывной струей, не разгоняя зноя. Приложившись головой к подушке и скрестив на груди руки, Лаврецкий глядел на пробегавшие веером загоны полей, на медленно мелькавшие ракиты, на глухих ворон и грачей, с тупой подозрительностью взиравших боком на проезжавший экипаж, на длинные межи, заросшие чернобыльником, полынью и полевой рябиной; он глядел... и *эта свежая, степная, тучная голь и глушь*, эта зелень, эти длинные холмы, овраги с приземистыми дубовыми кустами, серые деревеньки, жидкие березы – *вся эта, давно им не виданная, русская картина навевала на его душу сладкие и в то же время почти скорбные чувства, давила грудь его каким-то приятным давлением*. Мысли его медленно бродили; очертания их были так же неясны и смутны, как очертания тех высоких, тоже как будто бы бродивших, тучек. Вспомнил он свое детство, свою мать... (Тургенев, 1978-1986: VI, 58. *Курсив мой – С.А.*)

Далекие воспоминания меняют оценку Лаврецкого, и в конце он полностью осознает свою связь с этой землей, отождествляя ее с фигурой матери: «голь и глушь» становятся материнским местом, приобретают свою специфическую физиономию в аффективной географии героя.

Диалектика *глушь*-Петербург в романе Тургенева касается не только Лаврецкого: Варвара Павловна совершает прямо противоположное движение, и, после легкомысленного увлечения «глушью» («Я об одном только мечтаю теперь: зарыться навсегда в глуши...»), она «с наступившими первыми холодами [...], несмотря на свое обещание зарыться в глуши, запасшись денежками, переселилась в Петербург, где наняла скромную, но миленькую квартиру»... (Тургенев, 1978-1986: VI, 148, 151). Напротив, жизненный путь Лизы в чем-то схож с эволюцией Лаврецкого: Лиза «постриглась в Б.....м монастыре, в одном из отдаленнейших краев России», она «еще жила где-то, глухо, далеко»... (Тургенев, 1978-1986: VI, 151). Как Лаврецкий, так и Лиза «затаились» каждый в свою «глушь». Из этого следует неспособность Лаврецкого признать не только выбор Лизы, но и изменение своих собственных взглядов на мир:

он думал о ней, как о живой, и не узнавал девушки, им некогда любимой, в том смутном, бледном призраке, облаченном в монашескую одежду, окруженном дымными волнами ладана. Лаврецкий сам бы себя не узнал, если б мог так взглянуть на себя, как он мысленно взглянул на Лизу (Тургенев, 1978-1986: VI, 156).

Сопротивление «глуши» и «цивилизации» носит другой характер в романе «Отцы и дети», где глушь ассоциируется с отсталой, с точки зрения «детей», жизнью «отцов»:

– Да, – начал Базаров, – странное существо человек. Как посмотришь этак сбоку да издали на глухую жизнь, какую ведут здесь «отцы», кажется: чего лучше? Ешь, пей и знай, что поступаешь самым правильным, самым разумным манером. Ан нет; тоска одолеет. Хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться с ними (Тургенев, 1978-1986: VII, 118).

Как и в «Дворянском гнезде», в этом романе Тургенев также ставит вопрос о мнимом отсутствии сомнений: новым, свежим идеям молодого поколения, убежденности Базарова, казалось бы, суждено легко победить вялость и пассивность привычек старого поколения. Часто повторяемые высказывания Василия Ивановича,

Павла и Николая Петровича о достоинстве жизни в «глуши» («Я живу в деревне, в глуши, но я не роняю себя, я уважаю в себе человека»... – Тургенев, 1978-1986: VII, 47)⁴ звучат скорее как извинения и косвенно подтверждают слова Базарова. Однако действие романа принимает непредвиденный оборот, и снова Тургеневу удастся проблематизировать только на первый взгляд простую схему.

Не менее значима тема «глуши» в романах И.А. Гончарова, несмотря на то, что ее напряженное сопоставление со столицей (с «цивилизацией») у Гончарова приводит к другим, чем у Тургенева, смысловым корням (для обстоятельного сопоставления «дворянских гнезд» в произведениях этих двух авторов, см. Щукин, 1997). Конфликт между этими пространственными концептами проявляется в дружеской антитезе двух уроженцев из Обломовки – Обломова и Штольца:

- Зачем ты забился в эту глушь?
- Покойно здесь, тихо, Андрей, никто не мешает...
- В чем?
- Заниматься...
- Помилуй, здесь та же Обломовка, только гаже, – говорил Штолец оглядываясь (Гончаров, 1997-1998: IV, 389).

Штолец ссылается на прогресс, на позитивистскую веру в прямолинейную эволюцию цивилизации, которая «поднимет» даже Обломовку из состояния «глуши»:

Погиб ты, Илья: нечего тебе говорить, что твоя Обломовка не в глуши больше, что до нее дошла очередь, что на нее пали лучи солнца! Не скажу тебе, что года через четыре она будет станцией дороги, что мужики твои пойдут работать насыпь, а потом по чугунке покатится твой хлеб к пристани... А там... школы, грамота, а дальше... Нет, перепугаешься ты зари нового счастья, больно будет непривычным глазам (Гончаров, 1997-1998: IV, 484).

А Обломов, несмотря на свою пассивность, наделен автором какой-то внутренней силой и последовательностью: он остается привязанным именно к той «глуши», не видя в ней негатива, абсолютно бесспорного для его друга, и этим же он раскрывает возможность иной постановки вопроса о цивилизации и о ее ценностях. В завуалированной, не столь яркой, как у Тургенева, а гораздо более глубокой и радикальной форме Гончаров вкладывает в пассивное сопротивление Обломова слепой убежденности Штольца силу внушать сомнения в однозначное направление цивилизации, в ее прямолинейность и детерминизм.⁵ Даже наивное мировоззрение

⁴ См. также: «После жареного Василий Иванович исчез на мгновение и возвратился с откупоренною полубутылкой шампанского. “Вот, – воскликнул он, – хоть мы и в глуши живем, а в торжественных случаях имеем чем себя повеселить!”» (Тургенев, 1978-1986: VII, 111).

⁵ Нужно читать внимательно метафору «прямого пути», использованную Гончаровым, чтобы характеризовать «заблуждение» Обломова: «И уж не выбраться ему, кажется, из *глуши* и *дичи* на *прямую тропинку*. Лес кругом его и в душе все чаще и темнее; тропинка зарастает более и более; светлое сознание просыпается все реже и только на мгновение будит спящие силы. Ум и воля давно парализованы и, кажется, безвозвратно» (Гончаров, 1997-1998: IV, 97. *Курсив мой – С.А.*). На первый взгляд, вполне негативное суждение объясняется тем, что рассказ постоянно ведется с нейтральной точки зрения, т.е. с точки зрения общепринятого, очевидного. Но вряд ли цель Гончарова состояла в подтверждении этой очевидности: отказываясь «защищать» своего героя, повествователь доверяет читателю свободу сделать самостоятельные выводы от сопоставления жизненных путей Обломова, Ольги и Штольца.

слуги Захара получает право на существование; «глушь» для него – это корни, сохранение барской памяти, та связь с прошлым, которую так быстро готовы стереть новые люди, такие как Штольц. Даже старая вещь становится для Захара ценной:

Более ничто не напоминало старику барского широкого и покойного быта в глуши деревни. Старые господа умерли, семейные портреты остались дома и, валяются где-нибудь на чердаке; предания о старинном быте и важности фамилии всё гложут или живут только в памяти немногих, оставшихся в деревне же стариков. Поэтому для Захара дорог был серый сюртук (Гончаров, 1997-1998: IV, 9).

Смешное и юмористическое у Гончарова скрывают серьезное переосмысление старых ценностей. То, что происходит с Обломовым, уже было и с Адуевым-младшим, героем первого романа Гончарова «Обыкновенная история»:

Отчаяние выдавило у него слезы из глаз, – слезы досады, зависти, недоброжелательства ко всем, самые мучительные слезы. Он горько каялся, что не послушал матери и бежал из глуши.

«Маменька сердцем чуяла отдаленное горе, думал он, – там эти беспокойные порывы спали бы непробудным сном; там не было бы бурного брожения этой сложной жизни» (Гончаров, 1997-1998: I, 391).

Адуев так же, как и Обломов или Ордынцев из «Хозяйки» Достоевского, происходит из провинциального дворянства. Его переезд в Петербург с целью получить образование и воспитание почти неизбежен, и этот переезд не может не отразиться на хрупком сознании подростка: полное несоответствие столичной жизни с родным мирком оставляет на юноше глубокий след. При большей или меньшей степени адаптации персонажей к системе ценностей и условиям жизни Петербурга (Адуев-старший полностью адаптировался к новой жизни, но за счет своей истинной натуры и даже моральной силы), в них остается какая-то глухая тяга к покинутым корням, и в указанных примерах это выражается в стремлении вернуться обратно, хоть не всегда осознанно. Уход из цивилизованной столицы в сторону «глубинки» или «глуши» может стать движением *вглубь*, от внешнего к внутреннему пространству русского мира, поскольку ассоциируется с корнями, с материнством и с детскими воспоминаниями. Такое движение обратно, *вглубь*, может вызывать у героев колебания, сомнения и даже отторжение, ведь воспитание ориентировалось на отречение от традиционного *modus vivendi* во имя высших ценностей Запада. Оно естественно, как некоторый роковой призыв, как возвращение к собственной природе; и в то же время оно носит отрицательные оттенки, поскольку обозначает движение обратно, удаление от главного пути (от общества, от «цивилизации») и измену европейскому призванию послепетровской России. Оно может означать даже социокультурную «смерть», но может и предвещать духовное или культурное воскресенье, возрождение.

Глушь как возрождение, глушь как вырождение

Все это можно встретить и во многих произведениях Чехова, который сам вышел из «глуши». Дилемма о внутренней значимости, о ценностях провинциальной жизни

и одновременно об ее неисправимой отсталости возникает не раз в творчестве Чехова. Как один из самых ярких примеров можно привести рассказ «По делам службы» (1899), герой которого осознает свое отчуждение от провинциального окружения и одновременно ощущает его внутреннюю цельность и логику:

в этой жизни, даже в самой пустынной глуши, ничто не случайно, всё полно одной общей мысли, всё имеет одну душу, одну цель, и, чтобы понимать это, мало думать, мало рассуждать, надо еще, вероятно, иметь дар проникновения в жизнь, дар, который дается, очевидно, не всем (Чехов, 1974-1983: X, 99).

Откуда у героя возникает удивленное признание, что эта жизнь в «глуши» самостоятельно существует? Примерно то же самое происходило с Лаврецким в «Дворянском гнезде» – приближение, хоть случайное, к этой незнакомой жизни, наблюдение ее нюансов, ее конкретики: «глушь» перестает быть для героя абстрактным *nowhere* вне пространства и приобретает вполне реальные черты.

Потом дети прощались, уходя спать. Следовательно смеялся, танцевал кадрили, ухаживал, а сам думал: не сон ли всё это? Черная половина земской избы, куча сена в углу, шорох тараканов, противная нищенская обстановка, голоса понятых, ветер, метель, опасность сбиться с дороги, и вдруг эти великолепные светлые комнаты, звуки рояля, красивые девушки, кудрявые дети, веселый, счастливый смех – такое превращение казалось ему сказочным; и было невероятно, что такие превращения возможны на протяжении каких-нибудь трех верст, одного часа. И скучные мысли мешали ему веселиться, и он всё думал о том, что это кругом не жизнь, а клочки жизни, отрывки, что всё здесь случайно, никакого вывода сделать нельзя; и ему даже было жаль этих девушек, которые живут и кончат свою жизнь здесь, в глуши, в провинции, вдали от культурной среды, где ничто не случайно, всё осмысленно, законно, и, например, всякое самоубийство понятно, и можно объяснить, почему оно и какое оно имеет значение в общем круговороте жизни. Он полагал, что если окружающая жизнь здесь, в глуши, ему непонятна и если он не видит ее, то это значит, что ее здесь нет вовсе (Чехов, 1974-1983: X, 97. *Курсив мой – С.А.*)

Чехов отнюдь не идеализирует провинциальную жизнь. Среди его персонажей часто встречаются просветители-неудачники, которые понадеялись (а кто-то и попытался) в молодости поменять условия жизни к лучшему, перед тем как окончательно разочароваться и бросить все старания. Для героев Чехова внутренний закон существования этой «глубинной» провинциальной России остается тайной. Так, например, происходит с учительницей из рассказа «На подводе» (1897), искренне не понимающей возможность прожить «в этой глуши, в грязи, в скуке» и нелогичное равнодушие жителей к прогрессу, который мог бы улучшить их жизни:

А дорога все хуже и хуже... Въехали в лес. Тут уж сворачивать негде, колеи глубокие, и в них льется и журчит вода. И колючие ветви бьют по лицу.

– Какова дорога? – спросил Ханов и засмеялся.

Учительница смотрела на него и не понимала: зачем этот чужак живет здесь? Что могут дать ему в этой глуши, в грязи, в скуке его деньги, интересная наружность, тонкая воспитанность? Он не получает никаких преимуществ от жизни и вот так же, как Семен, едет шагом, по отвратительной дороге, и терпит такие же неудобства. Зачем жить здесь, если есть возможность жить в Петербурге, за границей? И казалось бы, что стоит ему, богатому человеку, из этой дурной дороги сделать хорошую, чтобы не мучиться так и не видеть этого отчаяния, какое написано на лицах у кучера и Семена; но он только смеется,

и, по-видимому, для него все равно и лучшей жизни ему по нужно. Он добр, мягок, наивен, не понимает этой грубой жизни, не знает ее так же, как на экзамене не знал молитв (Чехов, 1974-1983: IX, 337).

Пространство без пределов

Если понятия «провинция» и «периферия» сами по себе говорят о *пределах*, т.е. о движении из центра ко внешней части ценностного пространства, здесь картина получается совершенно иной:⁶ в русском понимании, «периферия» – это не обязательно то, что находится на границах государства или города, как было бы логично ожидать исходя из греческой этимологии слова (и как оно воспринимается в других современных языках); ведь русская «периферия» находится *в глубине* страны, в «глуши», т.е. в пространстве, которое находится внутри, и которое как будто не предполагает существования границ. Некоторый внутренний горизонт. Географическое положение становится незначимым, тут царствует неизмеримость, а, в отличие от этимологической «периферии», эти «не-места», эти неопределенные бескрайние пространства, кажется, не граничат с городом, т.е. не имеют с ним точек соприкосновения (если не считать пунктов символического характера, как, например, шлагбаум в произведениях Гоголя и Достоевского), а находятся в подчеркнуто отдаленном расположении от него, независимо от их реального расстояния (как замечено героем процитированного чеховского рассказа, «невероятно, что такие превращения возможны на протяжении каких-нибудь трех верст, одного часа...»).

Таким же образом и «провинция» в русском восприятии не тождественна исходному значению латинского слова: не имея административного значения, оно не означает территории, находящейся в пределах государства в положении подчиненности к центру; это, скорее всего, мягкий и необъятный «корпус» страны, лицом которой являются две исторические столицы, Москва и Петербург. Кроме столиц, всё воспринимается как «провинция», т.е. как неопределенное и глухое пространство, независимо от истории и местных характеристик каждого города, городка, поселка или области. Может быть, не случайно, что такой писатель, как Н.С. Лесков, родом из «провинции» и всю жизнь путешествуя по всем сторонам России, посвящая этим местам большинство своих произведений, практически не использовал слов «глушь» и «глубинка». Они отсутствуют и в словаре Л.Н. Толстого,⁷ нарочито оспаривающего культурное превосходство двух столиц и ищущего настоящих ценностей в деревенской жизни. Более того, и Лесков, и Толстой далеки от так называемого «петербургского текста» русской литературы, характеризующего большинство их современников, а в трактовке этих двух писателей Москву можно воспринимать как патриархальный русский

⁶ Хочу отметить только мимоходом, что отсутствие пределов (безграничность, беспредельность и т.п.) и широкость – это самые стереотипичные атрибуты т.н. «русской души». Как известно, такое представление русского человека о самом себе может быть признаком чрезвычайно банальных взглядов, но иной раз и может носить глубокое философское значение. Замечу только, что понятие о безграничном пространстве в русской культуре легко переходит из физического в абстрактно-символическое (Ср. Щукин, 1999: 276-279; Лазари, 2003).

⁷ По крайней мере, они не встречаются в его главных художественных произведениях.

город, не отличающийся от других исторических городов России и противоположный Петербургу.⁸

Всё это наводит на мысль, что антитеза *Столицы-Глушь* (или даже *Петербург-Глушь*) является более точной, чем антитеза *Столицы-Провинция*. То, что вовне, против того, что внутри, поверхность против глубины. Внешним/поверхностным можно называть городское, европеизированное пространство столиц (в литературе XIX века это преимущественно Санкт-Петербург).

Exilium no-русски

В качестве характерного итога такого представления о мире можно указать на одну специфику понятия о *ссылке* в русской культуре: в отличие от общеевропейского понимания ссылки как принудительного ухода вон за границы родины (латинское *exilium*), в русской истории ссылка чаще всего понималась как запрет на проживание в столицах и переселение *вглубь* страны, в самое ее чрево, где пространство теряет всякие границы и становится неопределенным и вневременным. Такую меру в разной степени претерпели Радищев, Пушкин, Боратынский, Чаадаев, Достоевский и многие другие известные писатели и мыслители. Удаление от западной части России, или просто от главных городов, воспринималось как настоящая ссылка и было наказанием несомненно более строгим, нежели покидание родины. Напротив, побег за границу часто гарантировал не только спасение от карательных мер государства, но и более благоприятные условия жизни, продолжение общественной деятельности, значительно бóльшую долю свободы и даже определенную степень связи с родиной, как доказывают случаи Герцена, Бакунина, Достоевского и многих других. Ссылка в Сибирь, напротив, предполагала совершенно иные условия для высленцев. Общественная и культурная жизнь на этом заканчивались на пороге села-городка. Так становится понятно, почему русские поэты и прозаики часто употребляют слова *ссылка* и *изгнание* как синонимы, отличая их только степенью книжности,⁹ и становится ясным смысл одной лагерной песни XX века – «Ты Россия, и всё же не родина, Колыма ты моя, Колыма...» ...

В русской истории можно найти огромное количество примеров «ссылки» внутрь страны: лица, оказавшиеся в опале, были вынуждены проживать либо в отдаленных монастырях (как, например, в случае царевны Софии Романовой), либо в своих имениях в деревне (как Петр Чаадаев и Александр Пушкин), либо на дачах (более современный вариант, касавшийся снятого с поста секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в 1964 г. или Михаила Горбачева, задержанного на трое суток во время августовского путча 1991 года), либо, в бесчисленных случаях, в провинциальных городках (так было с Пушкиным в Кишиневе, с Бахтиным в Саранске, с Сахаровым в Горьком и т.д.), не говоря уже о ссылке в Сибирь, на Дальний Востоке, на Север и на Кавказ. В русских

⁸ О «петербургском тексте» и о различиях в восприятии двух исторических столиц, см. Lo Gatto, 1960; Топоров, 1995: 259-367.

⁹ Например, у Пушкина термины *изгнание*, *изгнанник* наделяют фигуру ссылочного благородными, героическими чертами, и изгнание часто представлено как подчеркнуто добровольный акт; *ссылка* же носит всегда отрицательную оценку и ассоциируется с принудительным лишением свободы. Ср. Виноградов, 2000: II, 204-205, IV, с. 338.

словарях термин «ссылка» относится как к случаю вынужденного покидания родины, так и к более типичному случаю, о котором говорилось выше. Так, по словарю В.И. Даля:

ССЫЛАТЬ, сослать кого куда, отправлять, отсылать куда на жительство, на пребыванье, удалять куда против воли, в наказанье, в опалу, в ссылку, заточать. У нас ссылают преступников на каторгу, в крепостные работы, на поселенье в Сибирь, и на жительство, срочное или вечное, в дальние губернии; также в монастыри (Даль, 1880: IV, 308).

В годы сталинизма словарь под общей ред. Д.Н. Ушакова не регистрирует существенных изменений в семантике слова по сравнению со словарем Даля: глаголу «сослать» дается следующая дефиниция: «Подвергнуть наказанию, репрессии путем принудительного удаления в другое место жительства (обычно – отдаленное)» (Ушаков, 1935-1940: IV, 398). Что касается термина «изгнание», который уже воспринимается как книжный, первое определение словаря сохраняет историческую семантику слова («Подвергнуть кого-н. изгнанию из пределов государства»), а второе определение подсказывает возможность, но уже не необходимость, чтобы эта мера заключалась в удалении лица из родной страны: «Положение, состояние изгнанного, вынужденное пребывание где-н. в качестве изгнанного» (Ушаков, 1935-1940: I, 1153). А по глаголу «изгнать» мы встречаем еще более неопределенную ситуацию: «Удалить насильственно откуда-н., выгнать»; и только приведенный пример уточняет возможность ссылки за пределы страны: «*И. вредный элемент из страны*» (Ушаков, 1935-1940: I, 1153). Это значит, что «изгнание» воспринимается прежде всего как физическое и моральное отстранение человека, как его вынужденное исключение из общества. Географическое удаление в данном случае не так важно, как общественное и моральное отстранение.

Несколько выводов

Итак, наказание *ссылки в глушь*: в пространстве, которое невозможно измерить категориями европейской цивилизации с ее четкими временно-пространственными границами (эволюционная История и принадлежность к точно определенной территории Европы), возникают *ахронизм* и *атопия* Обломовки, Чевенгура, там же помещается Сибирь ссыльных. Это наказание смытого Времени-Пространства. Возвращение к колыбели нации, эмбриону, если говорить в положительном смысле, или к предсмертному гробу – в отрицательном. Для многих героев Чехова это социальная смерть. И совершенно так же действовала Сибирь на сосланных туда декабристов.

Можно назвать эту ситуацию внутренней, отстраняющей ссылкой: быть в России, но не на родине, как будто поглощенным глубиной безграничной страны... Русский интеллигент ощущает в таком случае свое пребывание в *нигде*: далеко от «культуры» (от «цивилизации», от линии эволюционного пути) и в неподвижном, слепом движении к своим корням, *в глушь*, но с сознанием, что связь с той старой народной культурой навсегда утрачена и не восстановится.

REFERENCES

- Алоэ, С. (2007а). «Татарский мотив» в повести «Хозяйка», *Поэтика Достоевского. Статьи и заметки*. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 14-21.
- Алоэ, С. (2007б) Внутреннее пространство Ордынова (Из наблюдений над повестью «Хозяйка»). *Достоевский и мировая культура*, 23, 9-15.
- Виноградов, В.В. (2000). *Словарь языка Пушкина в 4 т.*, отв. ред. В.В. Виноградов, 2-е изд. доп. Москва: Азбуковник.
- Гончаров, И.А. (1997-1998). *Полное собрание сочинений и писем в 20 т.* Санкт-Петербург: Наука.
- Даль, В.И. (1880). *Толковый словарь живого великорусского языка*, в 4 т. Москва: ТЕРРА, 1995 (репринт изд. 1880).
- Достоевский, Ф.М. (1972). *Полное собрание сочинений в 30 т.* Ленинград: Наука (Лен. отд.), 1972-1990.
- Лазари, А. де (2003). *Польская и русская душа. Материалы к «каталогу» взаимных преубеждений между поляками и русскими*. Ред.-сост. А. де Лазари. Варшава: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
- Ожегов, С.И. и Шведова, Н.Ю. (1992). *Толковый словарь русского языка*. Москва: «АЗЪ» Ltd.
- Словарь АН (1806). *Словарь Академии Российской по азбучному порядку распороченный*. Санкт-Петербург: При Имп. АН.
- Топоров, В.Н. (1995). Петербург и «Петербургский текст в русской литературе». Введение в тему. *Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического*. Москва: Прогресс-Культура, 259-367
- Тургенев, И.С. (1978-1986). *Полное собрание сочинений и писем в 30 т.* (2-е изд., испр. и доп.). Москва: Наука.
- Ушаков, Д.Н. (1935-1940). *Толковый словарь русского языка*, в 4 т., под ред. Д.Н. Ушакова. Москва: Русские словари, 1994 (репринт изд. 1935-1940).
- Чехов, А.П. (1974-1983). *Полное собрание сочинений и писем в 30 т.* Москва: Наука.
- Щукин, В.Г. (1997). *Миф дворянского гнезда: Геокультурологическое исследование по русской классической литературе*, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Щукин, В.Г. (1999). Русская душа / Rosyjska dusza. In: Andrzej de Lazari (Ed.), *Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski*. Т. 2. Łódź: Semper/Ibidem, 276-279.
- Gasparini, E. (1967). *Il peso della terra. Considerazioni sulla letteratura russa*. Venezia: La Goliardica.
- Gasparini, E. (1968-1970). *Il peso della terra. Spettro antropologico della letteratura russa*. Venezia-Padova: La Goliardica-Cromostampa.
- Lo Gatto, E. (1960). *Il mito di Pietroburgo. Storia, leggenda, poesia*. Milano: Feltrinelli.

REFERENCES IN ROMAN SCRIPT (ISO 9)

- Aloje, S. (2007a). «Tatarskij motiv» v povesti «Hozjajka». *Pojetika Dostoevskogo. Stat'i i zametki*. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 4-21.
- Aloje, S. (2007b). Vnutrennee prostranstvo Ordynova (Iz nabljudenij nad povest'ju «Hozjajka»). *Dostoevskij i mirovaja kul'tura*, 23, 9-15.
- Vinogradov, V.V. (2000). *Slovar' jazyka Pushkina v 4 t.*, otv. red. V.V. Vinogradov, 2-e izd. dop., Moskva: Azbukovnik.
- Goncharov, I.A. (1997-1998). *Polnoe sobranie sochinenij i pisem v 20 t.* Sankt-Peterburg: Nauka.
- Dal', V.I. (1880). *Tolkovyj slovar' zhivogo velikoruskogo jazyka*, v 4 t. Moskva: TERRA, 1995 (reprint izd. 1880).
- Dostoevskij, F.M. (1972). *Polnoe sobranie sochinenij v 30 t.* Leningrad: Nauka (Len. otđ.), 1972-1990.
- Lazari, A. de (2003). *Pol'skaja i russkaja dusha. Materialy k «katalogu» vzaimnyh predubezhdenij mezhdu poljakami i russkimi*. Red.-sost. A. de Lazari. Varshava: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
- Ozhegov, S.I. i Shvedova, N.Ju. (1992). *Tolkovyj slovar' russkogo jazyka*. Moskva: «AZ» Ltd.
- Slovar' AN (1806). *Slovar' Akademii Rossijskoj po azbuchnomu porjadku rasporozhennyj*. Sankt-Peterburg: Pri Imp. AN.
- Toporov, V.N. (1995). Peterburg i «Peterburgskij tekst v russkoj literature» Vvedenie v temu. *Mif. Ritual. Simvol. Obraz. Issledovanija v oblasti mifopojeticheskogo*. Moskva: Progress-Kul'tura, 259-367.
- Turgenev, I.S. (1978-1986). *Polnoe sobranie sochinenij i pisem v 30 t.* (2-e izd., ispr. i dop.). Moskva: Nauka.
- Ushakov, D.N. (1935-1940). *Tolkovyj slovar' russkogo jazyka*, v 4 t., pod red. D.N. Ushakova, Moskva: Russkie slovari, 1994 (reprint izd. 1935-1940).
- Chehov, A.P. (1974-1983). *Polnoe sobranie sochinenij i pisem v 30 t.* Moskva: Nauka.
- Shhukin, V.G. (1997). *Mif dvorjanskogo gnezda: Geokul'turologicheskoe issledovanie po russkoj klassicheskoj literature*, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Shhukin, V.G. (1999). Russkaja dusha / Rosyjska dusza. In: Andrzej de Lazari (Ed.), *Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski*. T. 2. Łódź: Semper/Ibidem, 276-279.
- Gasparini, E. (1967). *Il peso della terra. Considerazioni sulla letteratura russa*. Venezia: La Goliardica.
- Gasparini, E. (1968-1970). *Il peso della terra. Spettro antropologico della letteratura russa*. Venezia-Padova: La Goliardica-Cromostampa.
- Lo Gatto, E. (1960). *Il mito di Pietroburgo. Storia, leggenda, poesia*. Milano: Feltrinelli.